

ДМИТРИЙ ШУШАРИН

## Наблюдение за наблюдателем

Порой кажется, что слова в защиту демократии становятся несовместимыми со статусом интеллектуала. Неверно, конечно. Даже с точностью до наоборот неверно. Огромное число разнородных и разноуровневых текстов, созданных вне России «в связи с», — вовсе не «за» или «против», а именно «в связи с» проблемами демократии — при ближайшем рассмотрении открывают нечто для русского ума не совсем привычное. Для нашего интеллектуального мейнстрима демократия, как правило, либо священная королева, либо идолище поганое. Между тем для цивилизованного мира (этак лучше, нежели называть его «западным» или «евроамериканским») демократия является предметом регулярной интеллектуальной практики.

И практика эта принципиально отлична от русской. В одном из последних номеров «Логоса» (№4–5, 2003) был опубликован перевод из «The Democratic Paradox» Шанталь Муфф, где речь шла о наследии Витгенштейна, о «витгенштейнианской перспективе» как альтернативе рационалистическому подходу к обоснованию либерально-демократической теории, к консолидации и усилению демократических институтов. Среди прочего отмечалось, что демократические ценности нельзя создать, выдвигая рациональные доводы и делая заявления о превосходстве либеральной демократии, выходящие за рамки конкретного контекста. Что создание демократических форм индивидуальности — это вопрос идентификации с демократическими ценностями.

Подобное суждение объясняет очень многое в том предвзвешенном, если угодно, предрассудочном отношении к демократии, которое различает наблюдателей на том берегу и на этом. Для западного исследователя — причем любого образа мыслей и любых убеждений — демократия представляет собой среду обитания, с которой он идентифицирует себя, независимо от того, считает ли он ее враждебной или нет. В России же — опять же, для человека любых убеждений — речь идет о наблюдениях над чем-то иным, вне себя находящимся. Как обычно, доказательство этой не-идентификации надо искать в проговорах. В моем архиве хранится замечательная видеокассета с записью одной телепрограммы, в которой госпожа Слиска, занимавшая тогда пост вице-спикера Думы, назвала демократию чуждым внешним заимствованием.

А поскольку само понятие «демократия» необычайно емко, объемлет собой чуть ли не мироустройство, то подобное различие в идентификациях

наблюдателей следует признать принципиальным применительно вообще к так называемой политологии. Которая, как мне кажется, в России несколько преждевременна, о чем свидетельствует отечественная интеллектуальная и политическая практика.

Не касаясь итогов последних президентских выборов, вспомним панику декабря 2003 года. Происшедшее на декабрьских выборах и последствия этих выборов поставили в тупик значительную часть политологического общества. Уж больно все живо и не схематично получилось. Что подделаешь — история преподносит такие сюрпризы. И с последствиями поэтому все не до конца ясно. Из того, что рухнула партсистема, сформировавшаяся к концу девяностых годов, не следует, что политическая жизнь страны придет в упадок. Более того, уже сейчас закладываются основы того, что должно сформироваться к 2008 году и существовать после этой даты. Не одним же «Комитетом-2008» будет жить страна.

Историки получили еще одно подтверждение тому, что их предубеждение по отношению к такой науке, как политология, имеет основания. Уж больно странно, чтобы живую, иррациональную, эмоциональную, страстную человеческую деятельность, каковой является политика, можно было описать птичьим формализованным языком. Это под силу только науке исторической, оперирующей категориями оценочными, а языком — обыденным. Даже когда это та отрасль, которая именуется *current history* — текущей историей.

Дело в том, что политолог не решается признать уникальность наблюдаемого процесса, а потому не переходит на обыденный язык, являющийся единственно адекватным современной российской политике, особенно когда речь идет о побудительных мотивах действий власти. Политолог не в состоянии признать их глубоко человеческий, обыденный — а значит, глубоко индивидуальный и неповторимый — характер. Это понятное дело, старая дискуссия о возможности исторической генерализации и неизбежности исторической индивидуализации. Политология вообще хороша там, где уже есть устоявшийся конвенционализм, где ясно, какие цели являются значимыми, что хорошо и что плохо. Одним словом, политология уместна там, где она и возникла, — в современном цивилизованном обществе. То есть в обществе открытом, информационном, демократическом, политкорректном. Где политический язык при всей его условности все ж таки понятен всем. Где есть сообщения, а не сигналы. Где причины имеют следствия, где сказавши «а», говорят «б».

Россия же принадлежит иной науке — вольноязыкой истории, допускающей любые способы вербализации и формализации наблюдений над действительностью. Что же делать, если и правые у нас не правые, и либералы не либералы. И наблюдатели, и наблюдаемые идентифицируют себя с чем-то отличным от того, что принято считать демократией.

Что же касается нападков (интеллектуальных и не очень) на демократию, то демократическая практика доказывает: в свободном обществе каким бы ты буйным ни был, скандала не сделаешь, а только попадешь в определенный сегмент рынка. Такое впечатление, что западная цивилизация восприняла восточную манеру обращения с бунтарями: лучшая победа — уход от

поединка, хочешь отомстить — седи на берегу реки, пока мимо тебя не проплывет труп врага. Врагом же является не тот, кто не идентифицирует себя с демократией (там таких нет), а тот, кто связывает самоидентификацию с сопротивлением собственному существованию, не усматривая в оном никакого другого смысла. Ибо человек мыслится исключительно как «социальный агент».

А демократия как политическая реальность является следствием неотчуждаемой свободы личности, которая политической реальностью является лишь весьма условно и ограниченно при любых политических режимах. Но и хватит об этом. Раз мы не говорим о политологии, то обратимся к истории. Вслед за Фрэнком Анкерсмитом.

\* \* \*

Его текст самым прямым образом подтверждает все, что говорилось о демократической самоидентификации — слово «наш» применительно к существующему на Западе общественному устройству весьма показательно и употребляется в тексте достаточно часто. Но не об этом речь. Речь о красивой и корректной (адекватность — это иное) концепции происхождения демократии. Не Просвещение, но романтизм, не Средневековье, но постнаполеоновская Европа. И спорить с этим не надо, ибо верно и то, и другое. Да, не Средневековье, ибо самый древний парламент в мире, по поводу которого иронизирует исследователь, равно как и его континентальные аналоги, были институтами сословного, а не гражданского, не индивидуального представительства. Да, романтизм, а не Просвещение, но романтизм тем и отличен от Просвещения, что являл собой культурную рецепцию Средневековья, приведшую — вот парадокс! — к утверждению личностного начала.

Анкерсмит тем и привлекателен, что пишет об уникальном стечении обстоятельств в Европе эпохи Реставрации, но при этом заступает и за абсолютную монархию, степень абсолютности которой, добавлю я, весьма преувеличена. А главное, обыкновенно совершенно забывается, что французский абсолютизм сам сделал главный шаг к своей могиле, созвав после долго-долгого перерыва Генеральные Штаты.

И потому все-таки следует вспомнить о том, сколько лет насчитывают парламенты, рейхстаги и прочие представительные учреждения, уходящие своим корнями в далекое варварское прошлое европейских народов (да, в варварское, а не в античное), но своему генезису не тождественные. И сколько бы ни были точны и тонки наблюдения над тем, какую роль сыграли представительные учреждения в постнаполеоновской Европе, а какую — в семнадцатом столетии, во всем этом есть одна особенность. Анкерсмит рассматривает общественное представительство как способ разрешения конфликта, предотвращения общественной катастрофы. Между тем появление институтов сословного представительства связывалось с обстоятельствами не только конфликтными, но и весьма позитивными. Их главной функцией была организация финансовой системы все того же абсолютизма. Ну, скажем, публично-правовых институтов королевской власти.

Читатель, возможно, решит, что речь пойдет о тоскливом социально-экономическом обосновании сословного (а в перспективе – гражданского представительства). Ну, во-первых, тут нет ничего плохого. А во-вторых, в толковании Анкерсмита нет одной существенной детали – представительная система есть важнейший элемент общественной коммуникации. Такой же, как и монетаризм. И потому появление институтов сословного представительства как инструментов организации налоговой системы, помимо всего прочего, было одним из шагов на пути к новоевропейскому коммуникативному обществу. Власть не только связывала себя с сообществом сословий (еще не граждан), но закладывала традиции ритуальной прозрачности своего функционирования.

Весьма показательно, что там, где сословия не добивались такой прозрачности, как имперские города на рейхстагах эпохи Реформации, сами представительные органы консервировались и не развивались. Германская государственность эволюционировала в новоевропейскую в рамках княжеств.

А созыв Генеральных Штатов во Франции, как очень многие революции, означал возврат к тому, что было некогда, знаменовал собой коммуникативную (а значит, и монетаристскую, и властную) исчерпанность абсолютизма.

Это я не к тому, чтобы поучить западных коллег, а к тому, что исторически демократия, в том числе гражданское представительство, есть некое единство ценности и операциональности на всем протяжении своей истории. И если уж кого попрекать, так это русских мыслителей, самым нелепым образом противопоставляющих ценностное и утилитарное. В преодолении этого разрыва меж пониманием демократической процедуры как формы жизни и отношением к ней как к антагонисту жизни кроется главная исследовательская перспектива русской гуманитарной мысли – как исторической, так и политологической. По состоянию которой можно, если, конечно, очень постараться, сделать сущностные выводы о состоянии русской нации. Вопрос лишь в умении сделать это. Как сказал Андрей Белый, «редчайший дар – увидеть научный ландшафт как феномен культуры» (Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 414).